

1

Медея Мендес, урожденная Синопли — если не считать ее младшей сестры Александры, перебравшейся в Москву в конце двадцатых годов, — осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявший от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового понтийского, только в таврических колониях сохранившегося наречия.

Ей давно уже не с кем было говорить на этом изношенном полнозвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившем изумительную буквальность и первоначальный смысл слов: и поныне на этом языке прачечная зовется катаризма, перевозка — метафорисис и стол — трапеза.

Таврические греки — ровесники Медеи либо вымерли, либо были выселены, а сама она осталась в Крыму, как сама считала, по Божьей милости, но отчасти благо-

даря своей вдовьей испанской фамилии, которую оставил ей покойный муж, веселый еврей-дантист, человек с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами.

Овдовела она давно, но больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который ей очень пришелся.

Первые десять лет она носила все исключительно черное, впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка, все по черному. Черная шаль не по-русски и не по-деревенски обвивала ее голову и была завязана двумя длинными узлами, один из которых лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею.

Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, темная кожа лица тоже была в сухих мелких складочках.

Когда она в белом хирургическом халате с застёжкой сзади сидела в крашеной раме регистратурного окна поселковой больнички, то выглядела словно какой-то не написанный Гойей портрет.

Размашисто и крупно вела она всякую больничную запись, так же размашисто и крупно ходила по окрестной земле, и ей было нетрудно встать в воскресенье до света, отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться домой к вечеру.

Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она на своем табурете в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в восточных холмах, либо на каменистых склонах к западу от Поселка.

Ходила она не праздно, была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории.

Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей, как содержимое собственного буфета. Она не только помнила, где и когда можно взять нужное растение, но и отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда: заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточного склона Киян-горы, вымирает барбарис от едкой болезни, съедающей нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие весенние цветы.

Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости. Зато и Медея благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного когда-то чувства — начиная от первого июля девятьсот шестого года, когда маленькой девочкой обнаружила посреди заброшенной дороги на Ак-Мечеть «ведьмино кольцо» из девятнадцати некрупных, совершенно одинаковых по размеру грибов с бледновато-зелеными шляпками, местной разновидности белого. Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутневшим аквамаринном, выброшенный к ее ногам утихающим после шторма морем на маленьком пляже возле

Коктебеля двадцатого августа шестнадцатого года, в день ее шестнадцатилетия. Кольцо это она носила и по сей день, оно глубоко вросло в палец и уже лет тридцать не снималось.

Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест. Ни на какие другие края не променяла бы она этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель.

Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного, некогда стройного дома в греческой колонии, давно слившейся с феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами и верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело начинавшегося века.

Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда, Харлампия Синопли, богатого негоцианта, владельца четырех торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору Феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно-огненную алчность, только диву давался, отчего это судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, шестикратным рождением мертвых младенцев и бесчисленными выкидышами у обеих его жен, так щедро награждала потомством его единственного сына Георгия, которого он выколотил себе после тридцатилетних трудов. Но может, в этом была заслуга второй жены – Антонины, которая по обету дошла до Киева, а родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А может, многоплодие его сына шло от рыжей то-

шей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в их дом скандально непорочной и рожавшей с тех пор раз в два года, в конце лета, с космически-непостижимой точностью, по круглоголовому младенцу.

Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже и самый образ властного, жестокого и талантливое купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворялась в других потоках, и те из его потомков, которых не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант, а всем известная его жадность в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медеи, оборачивалась бережливостью, повышенным вниманием к вещи и изворотливой практичностью.

Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея, со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе, от чайных чашек на столе до облаков в небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести — разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья собиралась вместе. Всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал... Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только сама Медея и младший из братьев, Димитрий, были радикально рыжими. У Александры, по-домашнему — Сандрочки, волосы были сложного цвета красного дерева, даже и с пламенем.

Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам, да бабушкина приросшая мочка уха и исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности и еще несколько менее ярких играли в потомстве Харлампия.

Даже семейная плодовитость расщепилась на две линии: одни, как Харлампий, годами не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий с десятого года лежал на феодосийском греческом кладбище, на самой высокой его точке, с видом на залив, где до самой второй войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к Феодосийскому порту.

Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников и вела над ними свое тихое ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усиливался.

Сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась и своим осенне-зимним одиночеством. Первые племянники приезжали обыкновенно в конце апреля, когда после февральских дождей и мартовских ветров появлялась из-под земли крымская весна в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайски желтого дрока.

Первый заезд обычно бывал кратким, несколько праздничных майских дней, кое-кто дотягивал до девя-

того. Потом небольшая пауза, и в двадцатых числах мая съезжались девочки — молодые матери с детьми дошкольного возраста.

Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой — больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал.

Феодосийские и симферопольские шоферы, промышлявшие курортным извозом, отлично знали дом Медеи, иногда делали ее родне небольшую скидку, но оговаривали, что в дождь навверх не повезут, высадят в Нижнем Поселке.

Медея не верила в случайность, хотя жизнь ее была полна многозначительных встреч, странных совпадений и точно подогнанных неожиданностей. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее.

В середине апреля, когда, казалось, погода установилась, выдался сумрачный день, похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом.

Задержав занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, горсть хвороста и два полена, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала: то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню?

В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и меховой шапке.

Медея приняла его за одного из редких племянников и впустила в дом.

— Вы Медея Георгиевна Синопли? — спросил молодой человек, и Медея поняла, что он не из родни.

— Да, это я, хотя уже сорок лет ношу другую фамилию, — улыбнулась Медея. Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усиками, отпущенными книзу. — Раздевайтесь...

— Извините, я как снег на голову... — Он стряхивал жидкий снежок с мокрой шапки. — Равиль Юсупов, из Караганды...

Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий день, но так и не отправленном.

Много лет спустя оно попало в руки племянника Георгия и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного одиннадцатым апреля семьдесят шестого года. Письмо было следующее:

«Дорогая Еленочка! Хотя я отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон, и об этом я и хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которым положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновой в Феодосию в декабре восемнадцатого года? Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека в большом городе без всяких адресных книг. История для наших мест до-

вольно обыкновенная: их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равила отправили в Караганду — это при том, что отец этих ребятшек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории — я имею в виду вашу эвакуацию — и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты тогда Юсиму в благодарность подарила... Мать Равила многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Но это была только предварительная часть разговора, который, скажу тебе откровенно, меня глубоко тронул. Всплыло в памяти то, о чем мы не так уж любим вспоминать: мытарства тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже начали и официальные, и неофициальные шаги.

Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытащил магнитофон и записывал, чтобы мои рассказы могли услышать его узбекские и казахские татары. Я рассказывала ему, что помнила о бывших моих соседях по Поселку, о Галии, о Мустафе, о дедушке Ахмете-арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки, каждую соринку, как из глаза, вытаскивал, о том, как выселяли здешних татар, в два часа, не дав и собраться, и как Шура Городовикова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в три ручья, а на другой день ее разбил удар — и она уже перестала быть начальницей, а лет десять еще ковыляла по своей судьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас не немцы, а румыны стояли,

ничего такого не было. Хотя, я знаю, евреев брали, но не в наших местах.

Рассказала я ему и про то, как в сорок седьмом, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы ни умоляли, пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав и урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, все ветви в недозрелых плодах, вдоль дороги. А потом пришел приказ их пожечь. Таша Лавинская из Керчи тогда у меня гостила, и мы сидели и плакали, глядя на этот варварский костер.

Память у меня, слава богу, еще хорошая, все держит, и мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали. Уговорились, что назавтра я его поведу по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу — купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают, есть на этот счет специальный указ от сталинских еще времен.

Помнишь ли, Еленочка, каков был Восточный Крым при татарах? А Внутренний? Какие в Бахчисарае были сады! А сейчас по дороге в Бахчисарай ни деревца: все свели, все уничтожили... Только я постелила Равилю в Самониной комнате, как слышу — машина к дому подъехала. Через минуту — стучат. Он грустно так посмотрел на меня: “Это за мной, Медея Георгиевна”.

Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он и молодой, за тридцать, пожалуй. Он вытянул из магнитофона ленту, бросил в печь: “Неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им,

что просто на ночлег зашел, и все...” Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг пшикнула.

Пошла я открывать — стоят двое. Один из них — Петька Шевчук, сын здешнего рыбака Ивана Гавриловича. Он мне, наглец, говорит: “Паспортная проверка. Не пускаете ли жильцов?”

Ну, я ему отпустила по первое число: как ты смеешь в дом ко мне ночью вламываться?! Нет, не пускаю жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются куда им будет угодно и до утра меня не беспокоят. Свинья такая, посмел в мой дом прийти. Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала, здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила, а один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла: шутка ли, пятилетний ребенок — и все признаки мозгового поражения, а я кто — фельдшер! Ответственность какая... Они повернулись и ушли, но машина не уехала, стоит возле дома наверху, мотор выключили.

А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно: “Спасибо, Медея Георгиевна, вы необыкновенно мужественный человек, редко такие встречаются. Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни восточные холмы. Но я сюда приеду еще, времена переменятся, я уверен”.

Достала я еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились, беседовали. Потом пили кофе, а когда рассвело, он умылся, я ему испекла лепешку, консервы дала московские, с лета еще оставшиеся, но он не взял: все равно, говорит, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился, так хорошо. Петька